

Пространственная схема аналитики Фуко: социальное объяснение как инструмент разрыва с горизонтом обыденной очевидности*

Упорядоченность социального мира/ достоверность в социальных науках: логика и история поисков

Собственный и особенный способ объяснения, не сводимый ни к естественно-научному, ни к обыденному, является привилегированным предметом заботы социальных наук с конца прошлого века по настоящее время. Привилегированным, поскольку его посредством устанавливается собственный регион достоверности, отправляясь от которого исследователь может представлять и изучать уже не данные в его повседневном опыте неопределенные и неустойчивые социальные взаимодействия, а социальный — и при этом объективный — мир. Несмотря на то, что достоверность социального знания почти не фигурирует как самостоятельная и сквозная тема в теоретическом объяснении, мы можем обнаружить ее присутствие в разнообразии превращенных форм: в вопросах об объективности, строгости, отличительных чертах социального знания, в рефлексии об основаниях метода в целом, валидности отдельных процедур исследования или во всей сумме тегических суждений (будь то историческое описание или статистическое обобщение), отсылающих к тому, как есть «на самом деле».

Вариативность исторических форм, которые принимает интерес к достоверности и ее достижению, демонстрирует разнообразие техник или процедур, признаваемых научными и приемлемыми в актуальном состоянии дисциплины. Если говорить о социологии, сегодня интерес к ее «первым вещам» воспринимается как в целом подозрительный возврат к изысканиям конца прошлого или начала нынешнего века — в лучшем случае, он остается привилегией мэтров, чья принадлежность к вершинам научного Олимпа по принципу метонимии открывает двери в величественное прошлое науки. Современный социолог остается на почве фактов, вкладывая в это не меньше усилий и ожиданий, чем социолог начала века вкладывал в верное усвоение правил для руководства ума. Сегодня «естественным местом» достоверности официально признается сумма фактов, и лучше социологическое исследование останется подчинено «чистой статистике» или «чистой истории», чем окажется излишне умозрительным (синоним иллюзорности). Тем не менее, если ряд тем и процедур подчиняются правилу прогрес-

* Опубликовано в: Мишель Фуко и Россия. М.: Летний Сад; СПб: Европейский университет, 2002.

са, уступая место более строгому и систематизированному знанию в ходе изменений познавательного горизонта и системы разделения труда в дисциплине, ряд вопросов не снимается, сохраняя свою актуальность благодаря возобновляющейся связи (если не сказать, присвоению и подмене) этих «первых вещей» категориями и схемами из сфер, конкурирующих с социологией за видение социального мира — будь это политическое производство, литература или обыденная очевидность, результат протекающей в них борьбы [1].

Среди «первых вещей» социологии, вокруг которых явно или неявно протекает борьба социологических определений, а через нее и вместе с ней — борьба политических точек зрения, следует выделить проблему основания порядка или условий упорядоченности социального мира¹. Ее разнообразные решения, предлагаемые сегодня от лица науки, образуют неоднородное пространство, которое включает как наиболее простые формы биологического или географического детерминизма, тяготеющие к политической логике с правым акцентом, так и сложные схемы, указывающие на речевую практику как условие придания социальному миру окончательной определенности. Выступая одновременно задачей познания и предметом социальной борьбы, проблема основания порядка оказывается практическим коррелятом проблемы основания гуманитарного знания: они обе расположены в центре борьбы за интеллектуальную и социальную автономию социальных наук, а их изоморфизм оказывается тем исходным единством, которое в ходе социологического конструирования дифференцируется в порядок «вещей» и способ мышления о них, превращаясь в объект-субъектный мир научной практики. Иначе говоря, забота исследователя об основаниях гуманитарного знания в ходе социальной борьбы приобретает политический статус не менее важный, чем тот эпистемологический статус, который имеет в логике научного метода поиск условий упорядоченности социального мира. Взяв за отправную линию этот изоморфизм, представляется возможным пере-писать историю европейской социологии как логику поисков собственного региона достоверности — поисков одновременно научных и социальных. Обозначить роль исследователя в процессе его становления можно через

¹ Здесь следует отметить отличие проблемы упорядоченности социального мира (как системы отношений) от вопроса об основании социального порядка (как системы норм и ценностей), поставленный Парсонсом и решенный им через репризу неокантианской схемы — оппозицию нормативного/фактического (статистического) порядка [2]. Предлагая освященный историей дисциплины ответ в качестве универсального, Парсонс, вслед за Риккертом, связывает мышление о вещах с их «сутью» (см. далее), тем самым оставаясь в рамках дидактического и абстрактного различия природы и культуры. Соотнося социальное (культуру, нормы) и не-социальное (природу, факты), Парсонс изначально выводит за рамки объяснительной схемы один из полюсов учреждающей ее оппозиции, что лишает ее динамического начала — нормативный порядок системы оказывается стабилен силой логики объяснения. Проблема же условий упорядоченности охватывает более узкий, но разнообразный спектр вопросов, поставленных к социальному миру изнутри, т.е. размещающих различные полюса объяснительной схемы в рамках социальной логики: например, власть/знание у Фуко или поле/габитус у Бурдьё (см. подробнее [3, с. 16-19]).

персонально-временной ряд, ориентируясь на то, кому он наследовал, а кого вдохновлял. Однако можно превратить агиографию в топологию, реконструируя логику, т.е. относя тексты и события за их рамками не ко времени, а к самому предмету заботы (и только через него — ко времени). Взяв в качестве исходного материала только тексты, мы намерены предпринять первые шаги в этом направлении.

Различным образом тематизируемые, проблемы достоверности и упорядоченности обнаруживаются в основании как относящихся к концу прошлого века, так и современных стратегий социального объяснения. Отправные точки пространства поисков: специфика собственного метода (рассматриваемого через отличие, прежде всего, от методов естественных наук) и отношение к очевидному смыслу социального действия (который был и во многом остается первичной формой достоверности в социологическом объяснении) — были заданы в период конца прошлого-начала нынешнего века, генетически исходный для социологии как отдельной науки и университетской дисциплины. При тех трансформациях, которые, вплоть до настоящего времени, претерпевал интерес к достоверности у последующих поколений социологов, эти точки удерживают пространство поисков, ускользая от правила прогресса. Задача настоящего исследования — показать, какую выгоду в определенном этими полюсами пространстве социология может извлечь из подхода, предложенного Фуко — несмотря на то, что сам Фуко не видел в себе социолога и, вероятно, воспротивился бы попыткам приписать ему это обозначение. Для того, чтобы пространство поисков не осталось абстрактным образом и чтобы указать на тот контекст, в котором может идти речь об использовании работ Фуко, представим иллюстративный набросок структуры этого пространства в период становления.

Из стратегий достижения собственной достоверности социальных наук, которые отправлялись от горизонта естественных наук, можно выделить две принципиальных. Первая, развертываясь в субстанциалистской логике, связывала особенность гуманитарного знания преимущественно с особенностями описываемой им «природы» — речь идет прежде всего о введенной Виндельбандом оппозиции наук о духе и наук о природе с вытекающим из нее различием идиографического и номотетического методов. Попытка Риккерта ввести наряду с материальной противоположностью двух видов наук (природы и духа) их формальную противоположность (естественнонаучного и исторического методов) [4, с. 54] позволила удвоить понятийный строй, ранее данный в оппозиции духа/природы: культура/природа, история/естествознание. Однако это удвоение, призванное обозначить специфику «полюсов» *мышления* [4, с. 46], лишь усилило тезис о различии в *сущности* определяющих его «вещей» — природы и ценностей, выделяю-

ших из природы объекты культуры и, в конечном счете, сводящихся к способности морального суждения [4, с. 55-56]². Сообразно сущностному делению «вещей», методы двух видов наук были противопоставлены логически: естествознание генерализует [4, с. 69], а история индивидуализирует [4, с. 75]. Таким образом, вслед за противоположностью объектов природы и объектов культуры различие направленных на них методов предстало не более, чем «естественным» следствием, или «логической сущностью наук» [4, с. 75].

Вторая стратегия, содержательно определенная не вопросом природы, а вопросом познаваемости, была направлена преимущественно на метод: Дюркгейм, предлагал пользоваться в социологии анализом сопутствующих изменений, в противовес прямому установлению причинно-следственных связей в естественных науках [5, с. 144]. В отличие от риккертовой схемы, где метод *выводился* из «природы» объектов культуры, в схеме Дюркгейма метод *отправлялся* от социальных фактов, характеризующихся не через сущностное отличие, а через функциональный признак (принудительное действие на индивидуальное сознание [5, с. 30] и вытекающую из него инвариантность [5, с. 37]). Эта стратегия оказалась «более социологичной» в контексте интересов последующих поколений исследователей, поскольку отвергала (и здесь снова в отличие от риккертовой) монографическую (т.е. «индивидуализирующую») логику [5, с. 98] и одновременно отделяла причину от функции [5, с. 109]. Несмотря на то, что титульной задачей социологического метода, вслед за естественными науками, Дюркгейм называл анализ причин, здесь же он признавал: «Постоянное сосуществование изменений... само по себе есть закон, каково бы ни было состояние явлений, остающихся вне сравнения» [5, с. 144]. Таким образом, условием социологического знания оказывался не просто единый метод, но метод, признающий в качестве достаточного и при этом достоверного результата уже только вероятностные связи между явлениями, избавленные от принудительного усмотрения в них причин и следствий, противопоставленные связям, дающим предмет в обыденном мышлении (или в предпонятиях [5, с. 55]). Таким образом, вторая стратегия, отправлявшаяся от горизонта естественных наук, конституировала собственно научный метод социологии, поскольку не только декларировала единство научной практики (что делал и Риккерт [4, с. 46]), но сама производила результат (исследования «Самоубийство», «Элементарные формы религиозной жизни»), подчиняющийся современной общенаучной логике, принцип которой был тогда же сформулиро-

² «Легко показать, что эта противоположность природы и культуры, поскольку дело касается различия обеих групп объектов, действительно лежит в основе деления наук» [4, с. 55].

ван Кассирером: установление объективных и, при этом, функциональных, а не причинных связей³.

Две других стратегии отсылали к горизонту обыденной очевидности и, в той или иной степени — к политической и религиозной логике, лежащей в его основе. Этот вектор (обращение к обыденной очевидности) в одной стратегии сам представляется вполне явным и очевидным, будучи задан не только тематически, но уже в самих названиях работ, например, «Идеология и утопия». Воспринимая другую стратегию, на него редко обращают внимание, но не в силу его спутанности и темноты, а напротив, в силу его прозрачности и основополагающей в ней роли. Эта «другая» стратегия — развернутая Вебером схема понимающей социологии. Представляя понимание как основную технику социологического метода, Вебер указывал на условие достоверности ее результатов: на «очевидность» целерациональной интерпретации [6, с. 495], кристаллизующей всю картину социального мира. Очевидность в постижении адекватной связи цели и средств (определение целерационального действия [6, с. 495]) обосновывалась единством смысла общественно-ориентированного действия [6, с. 517], в свою очередь, обеспеченного согласованностью соотнесенных друг с другом индивидуальных перспектив [6, с. 509]. Каузальная интерпретация, устанавливающая этот смысл в качестве мотива конкретного действия, как и у Дюркгейма, признавала достоверным не только собственно причинное, но и вероятностное объяснение [7]. Однако *метод*, в отличие от *категорий* оказывался не принципиален для выявляющей смысл интерпретации. Более важным становился ряд содержательных соответствий в понимании смысла действующими индивидами и социологом. Объективным коррелятом очевидности общественно-ориентированного действия выступало не что иное, как сфера целерационально «сформулированных» установлений [6, с. 511], будь то политический порядок, имплицитно основанный на общественном договоре (как если бы юридически оформленном [6, с. 515-516]) или политические институты, принудительно обобществляющие действие [6, с. 539]. Разрыв в понимании единого смысла научным/обыденным мышлением, введенный через оппозицию ученого/торговки овощами, указывал три дифференцирующих признака социологического понимания, при этом, только один, последний, был назван решающим: расчет, метод мышления, *ясность* [8]. Его посредством Вебер указывал на конституирующую (прежде всего политическую) роль собственного мышления:

³ В конечном счете, и в риккертском указании на историю можно видеть тот же поиск способа объяснения за пределами причинно-следственной модели. Однако использованное в этих целях чисто логическое противопоставление генерализующего/индивидуализирующего привело к утрате основания для последующего синтеза: «отнесение к ценности» устанавливало непосредственную связь уникального события с идеальным объектом, отменяя существование структурных инвариантов, способных составить основу социологической классификации.

целерациональность, имплицитно содержащаяся в установленном порядке, через введение идеального типа становилась эксплицитной, т.е. очевидной. Таким образом, условием социологического понимания оставался исходный общий смысл, и обыденное/социологическое полагались двумя формами его существования: скрытой и явной⁴. Отсутствие метода последовательного анализа, невнимание к делению наук и отличиям социологического понимания смысла от обыденного в схеме, предложенной Вебером, определялись постоянным возвратом в рамках понимающей социологии к ее основанию — к очевидности смысла социального действия, занявшей место отсутствующего основания синтеза в риккертском «отнесении к ценности».

Наконец, стратегия, предложенная Мангеймом, исходила из сомнения в роли очевидности обыденного (политического) сознания как основания достоверного синтеза. Отправной в ее схеме выступила связь идеологии/утопии — систем отклонения восприятия и мышления, захватывающих как сознание господствующих, так и угнетенных [9, с. 40]. Опираясь на различие идеологии частичной (партийной) и тотальной (определяющей горизонт возможного мышления в данную эпоху) [9, с. 56-57], Мангейм ввел общие тезисы о перспективизме познания, зависящего от положения групп в социальном порядке [9, с. 31-34], и о ложном сознании как отстающем от новой действительности [9, с. 85]. Введение в качестве общих понятий тотальной идеологии и ложного сознания устанавливало вектор социологического объяснения в отношении двух оснований синтеза: ложной, прежде всего частичной, политической очевидности (точка отталкивания) и истинных схем, получаемых через ее тотализирующую социальную критику (точка притяжения). Таким образом, сама социология как критический проект превращалась в классификацию типов сознания и систему их отнесения к социальным ситуациям. Метод, подчиненный этой задаче, включал две основных линии: 1) анализ, близкий к психогенетическому, раскрывающему «всю совокупность связей», в которой формируется опыт индивида [9, с. 28] и 2) установление структурных подобий («причисление») частных аспектов мышления и течений социальной мысли, по образцу искусствоведения [9, с. 256-257]⁵. В качестве производителя имманентного объяснения⁶ социолог оказывался не менее прочих носителей социального знания подчинен прину-

⁴ В истории развития этой линии можно указать на другую социологическую схему — феноменологию Шюца, исходящую из отличающегося понимания очевидности, но, тем не менее, также сводящей социологию к представлению об обыденных представлениях.

⁵ Ориентация на искусствоведение и отчасти на психологию (а не на естественные науки) в определении метода получения достоверного знания в социологии особенно интересно, поскольку она не только не сопровождалась отрицанием общенаучной логики, но и, более того, прямо опиралась на критику неокантианского тезиса об уникальном (индивидуальном) как основании социальных наук. Мангейм в явном виде противопоставил свой метод схеме, введенной неокантианцами: он указал на некорректность оппозиции исторического/систематического [9, с. 173], критикуя концепцию изолированного индивида [9, с. 30-31] и предложив содержание исторического рассматривать как социальное (а не индивидуальное, в отличие от Риккерта и Вебера) [9, с. 72].

ждающей силе идеологии (или утопии), и в свете этого факта доступность общих социальных смыслов Мангейм рассматривал прямо противоположным Веберу образом. В движении к достоверности эта доступность, или очевидность, оказывалась не исходным и одновременно конечным основанием синтеза, а пунктом постоянного и, при этом, негарантированного преодоления, движения к «целостному пониманию» [9, с. 92]. Наряду с обыденным «порядком установлений», который веберовская понимающая социология только *проясняла*, эта стратегия обосновывала второй, *критически построенный* и современный порядок, обладавший уже собственно социологическим содержанием. Несмотря на возможность идеальной (тотальной) точки наблюдения, допускаемой Мангеймом прежде всего самой социальной задачей исследования: отделением истинных/ложных типов мышления и схем для одного и того же времени [9, с. 83] — и признанием социальной неукорененности интеллигенции [9, с. 132] (с вытекающей из нее миссией познания [9, с. 136-137]), эта стратегия предполагала исследование собственного сознания путем самоконфронтации и раскрытия частичности собственной перспективы [9, с. 79].

При всех указанных различиях и неучтенных подобиях (например, объединяющее все четыре схемы признание объективного статуса представлений) можно радикализовать тезис, указав, что реализованные в этих стратегиях «первые вещи», несмотря на несовпадение времени и места, конституировали *единое* — но, при этом, организованное не кумулятивно, а по принципу семейного сходства — пространство поисков собственной достоверности социального знания. И что основные линии напряжения, заложенные в строение этого пространства: отличие методов сложившихся наук и собственного метода социологии и сводимость/несводимость социологического знания к истине обыденной очевидности — до сих пор радикально не переопределены, а значит, не устранены из логики социологического объяснения. В нынешнем состоянии дисциплины линия метода: вопросы отличия социологии от прочих социальных и, уж тем более, естественных наук — отступила на второй план прежде всего потому, что в качестве общей для всей социологии утвердилась концепция статистической достоверности социального факта (не обязательно в форме связей между собственно статистическими данными). Но именно потому, что вопрос о разделении наук утратил первостепенную важность, на стратегическую оппозицию собственной достоверности/обыденной очевидности был перенесен вес нерешенных и вновь возникших вопросов. Это делает более актуальными сегодня стратегии Дюркгейма и Мангейма. Однако сами по себе они предоставляют только материал для дальнейшей декомпозиции/реконструкции. В акту-

⁶ «Для того, чтобы работать в области социальных наук, необходимо участвовать в социальном процессе...» [9, с. 46].

альном состоянии социальных наук полнота предполагаемого ими разрыва с обыденной очевидностью была достигнута в стратегиях объяснения, предложенного Фуко и Бурдьё. Доведя связь между социальным интересом и системой представлений до содержательного предела, каждый в своем смысле развернул ее в вопрос о насильственном характере обыденной, производной от политической, очевидности, при этом отойдя от самой оппозиции ложного/истинного сознания (т.е. от точки субъекта) и обратившись к эффектам воспроизводства социальных структур.

Пространственная схема социального объяснения

Интерпретация проделанной исследователем работы нуждается в основаниях, которые позволяют удерживать одновременно то общее и то особенное, что она представляет собой для последующих исследователей. Самым простым решением является выбор в пользу временного ряда: он обладает нужным свойством, подобно языку, все знаки которого — общие имена, используемые при обозначении единичных «вещей». Именно поэтому традиционная история социологии оказывается столь могущественным и, вместе с тем, бесполезным разделом. Предоставленная себе — т.е. логике временного ряда и единой иерархии «основателей» — она монополизирует историческую критику в дисциплине, таким образом, подменяя собой инструмент критической саморефлексии для решения частных социологических задач. Между тем, нашей задачей является не парад чести, но поиск решений в интересах социологической достоверности. И если мы очертили пространство поисков и указали на их исходные точки, правомерно продвинуться дальше и ввести для работы исследователя более определенную характеристику, нежели «большой вклад в развитие социологической мысли». Учитывая ранее сказанное, мы подходим к характеристике роли исследователя (или, точнее, его работ) через положение в очерченном ранее пространстве поисков. Это положение, определяемое как множество содержательных решений, связывающих различные точки общего пространства, мы обозначим как *пространственную схему* теоретического объяснения⁷.

Как можно понимать пространственный характер объяснения? Он имеет двойственное происхождение. С одной стороны, он вытекает из отношения между указанными, ключевыми для социального объяснения регионами: обыденной очевидности и методически конструируемого знания. Пространство означает расположение, и в дан-

⁷ Теория взята здесь из соображений актуальности, т.е. исходя из предмета и уровня нашего рассмотрения: социологического объяснения в форме теории и проблемы порядка. Точно так же, как о теории, можно говорить о пространственной схеме техники исследования или стиля представления — если установить для них логико-историческое единство, в котором они приобретают значимые черты.

ном случае теория характеризуется не через собственное строение, но через отношение к другим теориям. С другой стороны, на этом уровне мы сталкиваемся с пространственно-временным характером конечных категорий, который объясняется не только их уровнем общности, на котором уже сам язык обнаруживает свою пространственно-временную структуру. Его источник — два региона, конституируемых один в отношении другого, которые являют в своей связи область пространственных разрешений, заключенных в каждой отдельной теории. Очевидность — это в высшей степени определенная неопределенность и неразличимость, которой наиболее релевантно остенсивное полагание⁸. Метод же выступает — в чем сближались Вебер и Дюркгейм — инструментом прояснения интеллектуальной интуиции⁹, т.е. развертыванием и выявлением системы отношений в их наиболее полном, различимом виде. Таким образом, в значении, объединяющем оба признака, пространственная схема теории — это присвоенная конкретной стратегией объяснения часть общего пространства, которое предопределяет поиски собственной достоверности в социальных науках и упорядоченность референтного им социального мира.

Как допущение/отказ очевидности в ее объяснительной силе, пространственная схема объяснения будет представлять собой один из вариантов разрешения связи между очевидностью и продуктами метода, т.е. противостоянием монолитного, неразличимого/несамотождественного, наполненного различиями. Но, поскольку логически исходная схема или схема как нечто единожды данное и ставшее — только мотивирующая наше исследование иллюзия, говорить о схеме в точном смысле мы можем *post factum*, выявив образующие общее пространство различия во всем их разнообразии и функциональной связи. Работая с пространственными разрешениями связи очевидного/методически сконструированного, мы имеем дело прежде всего со стратегиями объяснения, т.е. с формами связи вводимого от лица социологии объяснения с исторически заданными очевидностями, постулатами метода, вопросами обоснованности и пунктами сомнения. Выявлять в таком случае искомую схему возможно, регистрируя операции, обращенные на эти элементы: отождествления, разрывы, импликации, инновации, не сводимые только к установлению отношений внутреннего/внешнего, ближнего/дальнего или верха/низа (как это предполагает модель непрерывного евклидова пространства, нередко лежащая в основании традиционных историко-социоло-

⁸ «Обыденный человеческий рассудок имеет свою собственную необходимость: он утверждает свое право с помощью только ему одному подвластного оружия. Это — ссылка на свои претензии и сомнения как на нечто “само собой разумеющееся”» [10].

⁹ «Открытия обязаны тому, чего не дает метод — силе гения... Но если метод не достаточен сам по себе, он необходим в науке: он для разума является тем же, чем является инструмент для руки» [11].

гических классификаций). Именно эта работа лежит в основе проделанного исследования. Более подробно ее ход и детали содержания отражены в: [12].

Пока не учрежден новый, устойчивый и признанный внутри и вне дисциплины регион достоверности, социальное объяснение нуждается в обыденном рассудке, но исторически, как это происходит в естественных науках, отталкивается от него благодаря методу. Статистическая концепция факта в социологии, во многом наследующая дюркгеймовской, недостаточна для его учреждения, поскольку устойчивость ему может придать не факт сам по себе, но технически (посредством метода) и социально (превращением в здравый смысл) обоснованная граница между фактом и не-фактом, отделяющая объективно сконструированный социальный мир от всех прочих миров и прежде всего — от обыденного. Для социального знания такая граница не может быть учреждена единожды, поскольку мир социологии имманентен социальному миру, в отличие от отношения, связывающего, например, мир физического знания и физический мир. Тем не менее, горизонт, обеспечивающий социологии одновременно связь и условия разрыва с миром обыденной очевидности, исторически ограничен¹⁰. Именно потому, что работа, проделанная Фуко направлена на разрыв с актуальной для современного мышления о социальном мире очевидностью, она выступает одной из вех, учреждающих отделение собственного региона достоверности гуманитарного знания.

Ключом для интерпретации работ Фуко, помещенных в пространство социологического поиска, может послужить основная проблема, которая переходит из «Слов и вещей» и «Археологии знания» в последующие работы, где конструкция знания рассматривается не из себя самой, но в связи с ее положением в пространстве стратегий присвоения и контроля (напр., [14, с. 204]). Эта проблема присутствует одновременно как предмет анализа и поле описания; кратко сформулировать ее — и здесь мы возвращаемся к одной из указанных в начале статьи «первых вещей» — можно так: воспроизводство порядка *в отсутствие* внеположенного ему основания. В таком общем виде проблему основания можно признать актуальной и для «археологий» (дискурсивный порядок), и для «генеалогий» (социальный порядок). Признать ее инвариантное воспроизведение в отдельных и различно оцененных самим Фуко исследованиях — значит обосновать возможность (по крайней мере, в этом случае) говорить об работе Фуко в целом, не оправдываясь «поздним периодом» или «отвергнутым им самим ранним», поскольку речь идет не о деталях содержания, но о схематике, на основании которой они реализованы во всем корпусе текстов.

¹⁰ Подробнее см.: [3, с. 19], а также [13].

Для выявления пространственной схемы работ Фуко мы воспользуемся его анализом власти, данным преимущественно в «Надзирать и наказывать» [18] и «Воле к знанию» [14]. По сравнению, например, с анализом эпистемологических классификаций в «Словах и вещах», который в этом отношении не менее иллюстративен, «Воля к знанию» имеет то преимущество, что проблема насильственного характера очевидности представлена непосредственно, через противопоставление тотальной, юридически определяемой «Власти» и конкретной, частной власти каждой из социальных областей¹¹. Более того, если механизм действия эпистемы или исторического априори (в «Археологии знания») вообще не может быть объяснен — но только описан — в «Воле к знанию» (или в «Надзирать и наказывать») эксплицируются некоторые техники навязывания очевидности.

Аналитика Фуко в отношении к очевидности: случай власти

В последующем рассмотрении мы намерены продемонстрировать, как в конструкции аналитики власти работает положение: власть — это очевидность, обеспеченная механизмом, который позволяет в каждом отдельном случае ее навязывать¹². В работе Фуко это положение можно обнаружить на нескольких уровнях: на уровне действующей и направляющей последующую аналитическую работу метафоры, на уровне исторического описания, наконец, на уровне работы с идеальными объектами, т.е. на уровне прояснения пространственной схемы, явленной в квазипонятийных определениях власти. Воспроизведенное в нескольких различающихся по принципам построения контекстах, это положение приобретает «силу существования» — совместное действие и частичная взаимодополнительность уровней дает эффект «очарования» пророческим текстом Фуко, который производит собственную, противостоящую обыденной очевидность.

Метафора очевидности, предоставляющая наиболее широкие границы последующему анализу, дана в работе Фуко через оппозицию прозрачности/полумрака. Он инверсирует привычное и очевидное противопоставление света/мрака, в котором положи-

¹¹ Можно утверждать, что базовой оппозицией, обосновывающей объяснение Фуко, является: реальная локальная власть/ложная, скрывающая реальную, всеобщая «Власть». Подробнее о пророческой стратегии Фуко, построенной на этой оппозиции см. [12, с. 41, 46].

¹² Как будет видно из дальнейшего и как можно видеть уже в случае основополагающей для аналитики оппозиции локальной/всеобщей власти, принципиальное значение имеет то, что этот комплекс условий не образует некоторого изначального единства, произведенного общим принципом или управляемым из одного центра. Фуко настаивает на этом, противопоставляя свою схему власти юридически-дискурсивной модели [14, с. 184, 197-199]. Более того, отсутствие основания, внеположенного социальному миру, как и миру дискурса или власти, выделенное нами в качестве опорного допущения работы Фуко, в контексте проблемы изоморфизма оснований социального знания и социального порядка оказывается радикальным ответом — причем, ответом социальным, отсылающим к факту автономии — направленным прежде всего против политической тематизации и самотематизации интеллектуального мира.

тельный абсолют принадлежит полюсу света. Фуко вводит в действие романтическую логику, перенося ее из области воображаемого на исторический материал. Эпоха света, т.е. Просвещение, с ее заботой о подконтрольной прозрачности, об изгнании ненормализуемой темноты и избавлении от неясности, приобретает агрессивное звучание, тогда как исторически первородный и гонимый полумрак — самой логикой направленной на него агрессии — превращается в символ искореняемого во имя механической эффективности человеческого и натурального [15, р. 153]. Образ плодотворного полумрака составляет одну из опор дионисийской ориентации работы Фуко, на которую указывает В.П. Визгин [16]. Учреждающий ее примат чувственно данного и переживаемого, противопоставленного разумному и упорядоченному¹³, ссылается на исчезнувшую в мифической истории непосредственную достоверность чувства. В этом смысле имплицитный миф о первородном и порождающем полумраке, присутствующий в метафорическом плане работы Фуко, оказывается зеркальным антиподом мифа об общественном договоре и обусловленном им прогрессе¹⁴. Однако оппозиция чувственного/разумного дистанцирована у Фуко от самодовлеющей игры мифо-политического воображения. Более того, она неочевидна в тексте работы, будучи скрытой в теле исторического описания и производимого анализа. Ее присутствие раскрывается как первый импульс в критике очевидности социального порядка, которая противопоставляет представлению, поддерживающему модус универсального и необходимого, представление о пространстве исторически возможных, но не реализовавшихся исходов.

Относя современную форму власти, в которой сочетаются очевидная юридическая и незаметная дисциплинарная формы контроля социального тела [17], к определяющей ее эпохе и логике Просвещения и предшествующим экспериментам, генеалогический анализ позволяет проследить условия ее фиксации в качестве универсальной, а также механизмы придания уже самому этому сочетанию очевидного характера. Такое отнесение, лежащее в основании метода, позволяет устанавливать структурные подобия в разрозненных сферах наблюдения¹⁵. Фуко пользуется им, чтобы продемонстриро-

¹³ Прослеживая игру с инверсией света в рамках романтического противопоставления дионисийского/аполлонического, уместно иметь в виду другое обозначение Просвещения, на котором также играет метафора, используемая Фуко — «эпоха разума».

¹⁴ Т.е. если в дальнейшей, собственно аналитической работе, Фуко рассматривает возможность порядка вне учреждающего его основания, то на уровне исходной метафоры это основание еще присутствует как исторически неопределенный полумрак — отсутствие полного социального и познавательного контроля над социальным порядком.

¹⁵ Указывая на установление структурных подобий, мы вновь возвращаемся к отсутствию той единой системы или центра, в отношении которой наблюдаемые формы организации Фуко мог бы рассматривать как частные случаи. Говоря о «расползании», «роении», распространении модели, он указывает на семейное сходство, которое имеют между собой различные реализации порядка и контроля, построенные по функционально подобным проектам. Эта модель не везде воплощена в неизменном наборе черт, но несет в себе принцип, сближающий данный случай с прочими.

вать историческую смену модели контроля исключений моделью повсеместного надзора за нормальностью [18, с. 306-307] и превращение юридической модели власти в «естественно» воспринимаемую [14, с. 186-191], нормализацию представлений о сексе через дискурс, центрированный на модели семьи [14, с. 208-214], или превращение тюрьмы в очевидную форму наказания [18, с. 338-372]. Вместе с тем, представляя становление механизма дисциплинарного общества, Фуко продолжает разворачивать в историческом описании оппозицию исходного, гонимого, скрывающего полумрака/искусственного, навязанного, разоблачающего освещения. Например, говоря о приобретении надзором роли основного инструмента контроля в казарме, школе, тюрьме или на фабрике, Фуко указывает на повсеместную рационализацию пространства, во имя эффективности превращающую недоступное взгляду в принципиально обозримое [18, с. 248-284]. Т.е. в ключевых моментах, как в случае паноптизма, метафорическая убедительность на уровне исходных допущений продолжает доминировать над точным описанием. Принципиально, однако, что Фуко помещает метафорическую оппозицию исходного полумрака/повсеместной доступности взгляду в контекст ее исторического происхождения. Именно через это направленное на собственные категории отнесение исторически неопределенный полумрак утрачивает роль первоначала или основания порядка, поскольку носитель представления об истории оказывается сам в ней размещен¹⁶.

Прежде всего, Фуко указывает на принципиальное значение оппозиции для агентов Просвещения: «О чем, в действительности, мечтал Руссо, и что вдохновляло многих революционеров? Это была мечта о прозрачном обществе, видимом и четком во всех его частях, мечта о том, что более не будет существовать зон темноты, зон, установленных привилегиями королевской власти или прерогативами отдельных корпораций, зон неупорядоченности» [15, р. 152]. Метафора разоблачающего света выражала практическую диспозицию, направленную на изменение политического порядка и исходившую из страхов и ненависти к «неосвященным комнатам», «где зрели пристрастные политические акты, монаршьи капризы, религиозные предрассудки, заговоры тиранов и духовенства, эпидемии и иллюзии невежества» [15, р. 153]. Выделив оппозицию света/тени как практическую метафору французских просветителей и революционеров, Фуко показывает, как реализованная в ней логика разрушения механизмов наследственного Старого порядка — который отчуждает привилегии в пользу меньшинства авторитетом центра, ускользающего от мнения и суждения большинства —

¹⁶ Таким образом, в отличие от традиционной истории, в которой практическое отношение к описываемым событиям, обязанное инвестициям воображения и опоре на как если бы универсальное основание настоящего, выносится с позиции, возвышающей историка над всей картиной событий, здесь формой практической вовлеченности в предмет описания становится позиция в рамках исторически определенной оппозиции.

приводит в более поздних проектах, в частности, в бентамовом, к отчуждению, в свою очередь, любого возможного господствующего от механизмов господства и отчуждения [15, р. 158]¹⁷. Занимая в генетическом исследовании позицию историка взгляда, Фуко становится на имманентную логике Просвещения точку зрения: признавая свободы, открытые Просвещением и говоря о произведенных им дисциплинах [18, с. 326], он оценивает коренящиеся в истории и исключенные из настоящего шансы как практический агент, непосредственный участник истории¹⁸.

Рассматривая с этой позиции становление механизмов, которые в ходе функционирования превратили упорядоченное эффективностью действие в универсальную схему настоящего, он имплицитно противопоставляет преформированную этими механизмами рационализированную очевидность непосредственной чувственной данности, к возможности которой он приходит через критику первой. Иначе говоря, в рамках аналитики рационализированной очевидности в качестве асимптотической точки противостоит чувственная *оче-видность* — доступность взгляду, не деформирующему пространство наблюдения интересами контроля. Обширные описательные фрагменты, наполненные «впечатляющими» подробностями в «Надзирать и наказывать», картины фабричного труда в данных позже интервью, образы сексуальной раскрепощенности и сдержанности в «Воле к знанию» и т.д. являются попыткой получить доступ к тому непосредственно достоверному, которое скрадывается насаждаемым с XVIII в. пристальным взглядом. То, что могло бы восприниматься и воспринималось до Просвещения как непосредственное, но что впоследствии было опосредовано его рациональной схематизацией, становится тем преимущественным объектом реконструкции, на который направлен генетический метод. В рамках метода прозрачность/полумрак, отнесенные к исторической практике, трансформируются в эпистемологическую оппозицию навязанной очевидности/непосредственной достоверности.

¹⁷ Речь идет и о последующем социальном воплощении «аппарата тотального и циркулирующего недоверия» в отсутствии абсолютной точки отсчета, ранее отождествлявшейся с фигурой монарха [15, р. 158].

¹⁸ Т.е. реконструируя логику устранения революционерами и их последователями условий наследственного господства, он вместе с тем показывает, как во имя эффективности было принципиально сужено пространство возможных исторических исходов из той неопределенности порядка, которую это господство обеспечивало. При всем различии содержательной оценки Просвещения в текстах сборника «Власть/Знание» и в статье «Что такое Просвещение» [19], работа Фуко на всем своем протяжении строится на имманентном соучастии в Просвещении, каким оно реализовано в современном социальном порядке. Если в последнем случае Просвещение — уже как свет в положительном смысле философов — рассматривается в качестве производительного условия собственной интеллектуальной и критической практики, то и в первом случае оно выступает таким же условием, с той разницей, что оно предоставляет практике уже готовую форму, а не открывает путь к свободному самоконституированию. Можно видеть, что в этой оппозиции преформированности/самоконституирования Фуко не разрушает обозначенной в «Надзирать и наказывать» оппозиции дисциплины/свобод, а только избирает для рассмотрения (уже как философ, а не как историк взгляда) ее второй полюс.

Именно это неявное противопоставление позволяет лучше понять, почему основная задача как археологии, так и генеалогии Фуко сформулирована на языке гуссерлевской феноменологии, на первый взгляд, мало подходящей к истории: *чистое описание* группировок событий в общем пространстве дискурса [20, р. 38-39] или установление специфической области, образуемой отношениями власти [14, с. 109, 181], при этом отношениями «самыми непосредственными и самыми локальными» [14, с. 198]. И здесь, и там из описания выпадает синтетическое основание традиционной истории — временной ряд и вообще схема последовательности каузально связанных событий. В его отсутствии значение конкретного дискурса или формы власти устанавливается через отнесение к порождающей схеме синхронного горизонта, которая, в свою очередь, может быть отнесена к схеме другого синхронного горизонта, производящего иное значение дискурса или иную форму власти¹⁹. Прерывность между синхронными горизонтами, которой подчиняется также восприятие и мышление историка, адекватное лишь в границах актуального горизонта, позволяет и одновременно принуждает его пользоваться в качестве первого инструмента способностью воображения, направленной на порядок исследуемой области через погружение в ее материал и артикулируемой впоследствии в визуальных (пространственных) терминах, как наиболее адекватных синхронному взгляду. В этом случае решающее значение приобретает вопрос о границе горизонта, звучащий одновременно как вопрос о порядке и условиях его прерывности. Непрерывный перенос наблюдения, незаметно нарушающий синхронность горизонтов, препятствует достоверному объяснению, поскольку вместе с наблюдением, точнее, вместо него, проецирует в исследуемую область общие схемы, которые подменяют ее собственный порядок иллюзией надисторического единства. Отсюда, подготовка пространства для непосредственного наблюдения, которое позволяет выявить образующие горизонт чистые формы, предполагает сначала «расчистку места», т.е. разрушение очевидных представлений о дискурсивных единствах [20, р. 31] или форме власти [14, с. 181], связывающих воображение ложными общими схемами, а затем введение заново сконструированной аналитической сетки [20, р. 38][14, с. 191].

¹⁹ При этом, сам горизонт, рассматриваемый в целях выявления порядка как внутренне неоднородный и прерывистый, определяется через оппозиции: сеть властных отношений/социальное тело, властные стратегии/дискурс знания, формы сексуальности/дискурс власти и т.д. Отнесение элементов одного полюса к элементам другого раскрывает внутренний порядок горизонта, например: «Диспозитив сексуальности следует мыслить, отправляясь от современных ему техник власти» [14, с. 257]. В отличие от риккертова исторического метода, где ценность и действие оказываются прямо соотношенными единичными событиями, здесь в качестве основания синтеза выступает полученная (и с самого начала предполагаемая) собственная упорядоченность горизонта. Чтобы обеспечить ее адекватную реконструкцию, в исследовании используется ряд ограничительных процедур, распространяющихся, как в гуссерлевском методе, прежде всего на «метафизические допущения», т.е. на общие схемы, которые подменяют и заслоняют непосредственно являющееся содержание области восприятия (см. далее о «расчистке места»).

При всех методологических возражениях, которые может вызывать техника феноменологического созерцания, транспонированная в историю, принципиальную роль сохраняет отношение, которое аналитический метод устанавливает с обыденной очевидностью. В обоих случаях Фуко настаивает, что новая аналитическая классификация, вводящая порядок через множественность отношений («пространство рассеивания», на языке «Археологии знания» [20, р. 19]) вместо того, чтобы рассматривать его как централизованную систему вещей, противостоит сложившемуся порядку господства, за очевидностью которого более или менее явственно обнаруживается игра интересов, в ходе которой тот был навязан. В аналитике власти ключевой выступает следующая формула отнесения: теоретическая структура привычного (юридически-дискурсивного) представления «является тем кодом, в соответствии с которым власть себя предъявляет и в соответствии с которым, по ее же предписанию, ее нужно мыслить» [14, с. 188]. Отталкиваясь от нее, мы можем дополнить метафорически и исторически заданное объяснение его собственно аналитическим, контрочевидным доопределением, апофатическая схема которого определяет власть как нечто, не сводящееся к подавлению, не юридическое, не запрещающее, не исключющее, не обладающее непрерывностью, а также подобием иерархических уровней и центром [14, с. 182-184]²⁰.

1. Уже в способе контекстуального определения власти можно отметить ее обращенность на себя²¹ — она оказывается отношением с самой собою, то есть самореферентным событием, говорящим о себе и себя представляющим²². Эта же самоотнесенность выступает условием навязанного ее функционированием очевидного представления о себе. Являясь самореферентным и самопредставляющим отношением, власть, лишенная признаков «вещи», участвующей в «играх» присвоения, обмена, распределения [14, с.194], не является и свойством, которое может «принадлежать» или быть атрибутировано конкретному социальному агенту, классу или группе [18, с. 41-43].

2. Лишенная одновременно свойств присваиваемой вещи и чего-то, определяемого через иное, власть приобретает характер субстанции, но — парадоксальным образом — субстанции, которая не является причиной себя самой. В самом деле:

²⁰ Предложенный перечень «не» Фуко связывает через разрыв одновременно с обыденным представлением [14, с. 181] и с традиционным «для истории Запада» способом мышления о власти [14, с. 182]: обыденное результирует историю формирования юридического представления как всеобщего, обеспечивая «легкость», с которой оно принимается [14, с. 185].

²¹ Власть скрывает значительную часть себя [14, с. 186], формой приемлемости власти является запрет [14, с. 186] (запрет — форма представления себя инстанциями политической власти [14, с. 186]), власть взяла на себя заботу о жизни людей «как живых тел» [14, с. 189].

²² Ж. Делез, представляя тезис Фуко о власти как силе (о чем — далее), отмечает, что из самого происхождения силы как внешнего проистекает «отношение силы к самой себе, способность ее воздействия на саму себя, воздействие самости на самость» [21].

а) С одной стороны, власть — это «множественные отношения силы, которые имманентны области, где они осуществляются и которые конститутивны для ее организации» [14, с. 192]. И здесь же, под властью следует понимать «игру, которая путем непрерывных битв и столкновений их [отношения силы] трансформирует» [14, с.192]. То есть воспроизведены признаки субстанции [22]: область отношений власти, совпадает с областью отношений силы, а власть предстает игрой, которая их (то есть себя) трансформирует — сила в изменении тождественна себе. Это позволяет Фуко задать власть не через различие власти от не-власти и не через отождествление с чем-то другим, но через ее нетождественное тождество с самой собою.

б) С другой стороны, если Фуко, по образцу Спинозы, последовал бы субстанциалистской логике описания эманаций Бога-природы, области актуализации силы отосились бы к ней как модусы²³. Тогда как Фуко утверждает прямо противоположное. Раскрывая номиналистский тезис о власти как не более чем имени «сложной стратегической ситуации», он говорит: «Власть повсюду не потому, что она все охватывает, но потому, что она отовсюду исходит. И “власть” — в том, что в ней есть постоянного, повторяющегося, инертного и самовоспроизводящегося, — является только совокупным эффектом, который вырисовывается из всех флуктуаций...» [14, с. 192]. Вопрос о порождающем характере «власти» инверсируется: из конечного условия порядка во всякой социальной области она превращается в его собирательную характеристику. Потеряв роль генетической первоосновы, «власть» становится именем структуры каждой области, а ее самотождественность оказывается следствием не сущностного превосходства, но подобия всех социальных упорядочений.

3. Несамотождественная субстанция власти не внеположена всем частным социальным областям, но имманентна им [14, с. 192-193]²⁴. Оставаясь такой, она оказывается одновременно источником и результатом порядка: «Отношения власти не находятся во внешнем положении к другим типам отношений, но имманентны им; они являются непосредственными эффектами разделений, неравенств и неуравновешенностей, которые там производятся; и, наоборот, они являются внутренним условием этих дифференциаций» [14, с. 194]. Имманентная всякой социальной области, власть воспроизводит такой порядок, в котором содержится и наиболее соответствующая ему форма

²³ «Под модусом я разумею состояние субстанции (Substantiae affectio), иными словами то, что существует в другом и представляется через другое» [22].

²⁴ Признак имманентности власти обнаруживается в контексте всех ее ключевых определений: власть как имманентная дискурсу признания [14, с. 162], стратегии власти, имманентные воле к знанию [14, с. 175], точки власти как имманентные обществу [14, с. 193], отношения власти как имманентные другим социальным отношениям [14, с. 194], сопротивление как имманентное власти [14, с. 196], точки сопротивления как имманентные отношениям власти («неустранимое визави») [14, с. 197], власть имманентная телу (то есть другим областям отношений) [14, с. 200].

представления — очевидность этого порядка, своим существованием обязанная прежде всего борьбе за приемлемое самопредъявление (например, интерес монархии в производстве юридически-дискурсивной модели [14, с. 188-189]).

В общем виде, пространственная схема представленного здесь определения власти оказывается структурно подобной модели *топологического* пространства, в котором исходное множество (очевидный порядок власти) является элементом семейства образованных на его основе подмножеств (анализ порядка), в числе которых — множества, образованные пересечением исходного множества с получившимися на его основе (анализ условий его очевидности)²⁵. Предъявляя через серию дифференцирующих разрывов топологию власти как комплекс отношений, очевидной и одновременно частной формой которого выступает закон, аналитическое объяснение стремится к тому, чтобы, противопоставить себя построенной на законе господствующей классификации, исключить ее из собственного основания²⁶. Движение к самодостаточности и к чувственно данному, где ставкой выступает не-очевидное определение очевидности и ее условий, избегает родо-видовой классификации социального мира. В пространстве логически устойчивых дидактических классификаций рожденное им объяснение может представлять «сбивчивой» и чувственной речью, несмотря на пророческое очарование. Однако именно в этой неокончательной логической упорядоченности заключается ее производительная сила. Делая метафору исходного полумрака основой непосредственной данности в описании, а свойства последней — основой определения власти через саму себя, эта стратегия сохраняет за воображением исследователя возможность отвергнуть предопределенный или навязанный извне порядок. Если стратегия аналитики и претендует на построение обращенной на себя области знания, имманентной миру обыденной очевидности — т.е. воспроизводит в своем функционировании формальные признаки власти — то производимый ею порядок, основанный на схеме несамотождественной субстанции, не может достичь логической полноты, пока сохраняет практическую связь-через-разрыв с миром очевидности. Подобно тому, как динамически противостоят полюса оппозиции рационализированной очевидности/чувственной данности, родо-видовой классификации «вещей» социального мира, гомогенизирующей их логикой внешнего присвоения, противостоит стратегическое, т.е. многозначное и логически противоречивое объяснение, каждый раз вскрывающее формы очевидности, производимые вновь возникающими конфигурациями сил и интересов.

²⁵ Подробнее см. [12, с. 44-45].

²⁶ Как мы указывали ранее, явным образом противопоставляя аналитику обыденному пониманию, Фуко одновременно противопоставляет ее «великой традиции», сложившейся в западноевропейском мышлении о политике.

Место аналитики в пространстве социологических поисков

Вводя в объяснение парадокс несамодостаточной субстанции, аналитика препятствует обыденной очевидности в социальном объяснении как в ее политическом значении (иллюзия производящего центра), так и в предоставляемой ею «ясности» — полной самотождественности и понятности без понятий. Разрыв с моделью централизованного государства, прозрачного и повсеместно доступного для наблюдения социального тела предполагает автономное, не зависимое уже от политического, а не естественно-научного, объяснение. В этом смысле, отсутствие внеположенных социальному порядку оснований, допускаемое аналитикой, оказывается собственным социальным основанием интеллектуального представления о социальном мире. Определение отношений власти как имманентных всякой рассматриваемой области (в противовес допущению о наличии единого внешнего им центра), тезис о производительном (а не только репрессивном) характере власти, наконец, критика юридика производят принципиальный разрыв с обыденно-политическим взглядом на социальный мир, противопоставляя собственную достоверность результатов, полученных в аналитическом, использующем историческую критику, исследовании, правдоподобию навязанных извне определений. Топологическая пространственная схема выступает здесь своего рода системой безопасности, которая гарантирует, что вводимая ее посредством классификация социального мира не будет редуцирована к самоопределениям институционального политического порядка: «всеобщей вещи», однородному и равномерно достижимому социальному пространству, власти как объекту собственности (что можно в отчетливой форме обнаружить, например, у Парсонса).

Принимая «всеобщие» категории: «семья», «государство», «право», «секс», «власть» — только как имена пучков отношений и содержательно определяя их в синхронном горизонте, т.е. изнутри области, предоставляющей и одновременно ограничивающей их реальность, аналитика вводит собственное измерение в социальное тело. В отличие от действия веберовского понимающего метода, это измерение образуется не прояснением очевидности, а критикой ее технических условий. Тем самым, в аналитике снимается вопрос об истинности/ложности отдельных представлений и обосновывающих их «первых вещей»: сама по себе юридически-дискурсивная модель не более ложна, чем топологическая — каждая из них вводится из перспективы, определенной различающимися условиями и частными интересами. Вторая *предпочтительна* для социологического объяснения именно потому, что соответствует его имманентному интересу

в установлении собственного и особенного региона достоверности, отличающего социологию от политического здравого смысла.

В свою очередь, вопрос об интересах аналитика власти, непосредственно возникающий вслед за утратой им абсолютной точки отсчета, заставляет видеть в его собственном взгляде последнее основание учреждаемого им социального порядка. Топологическая схема, доводящая принципы имманентности власти и обращенности ее на себя до их полноты, предполагает введение в пространство исследования самого исследователя, т.е. анализ его собственной вовлеченности в социальные (властные) отношения. «Историческая онтология» Бурдьё и аналитика Фуко, построенные топологически, предоставляют открытую схему пространственных разрешений между методом и очевидностью, где вопрос об объективности не замкнут в границах объекта, но предполагает анализ учреждающей его субъективности. Для Фуко — это прежде всего исторический горизонт, производящий техники субъективации и индивидуализации. Для Бурдьё — это условия социального обмена, или структура поля, усвоенная в форме диспозиций и организованная как габитус, порождающая практики структура [23]. Зафиксированный в общем виде уже Мангеймом, регулятив учитывать перспективы и обнаруживать за ними интересы (в том числе, собственные), у Фуко и Бурдьё становится основной исследовательской практики: при всех различиях, заложенных в стратегиях обоих исследователей, объединяющая их топологическая схема в качестве критерия достоверности вводит объективацию классификатора-производителя объектов²⁷. Но, в отличие от Мангейма, анализ условий собственного мышления рассматривается не как освобождение предсуществующего мыслящего «я», но как учреждение собственного мышления, направленного на достоверность — специфический интерес интеллектуальной практики. Такое определение условий достоверности, наряду с обращением к социальному смыслу автономии, оказывается наиболее радикальным вкладом — в форме исторической самообъективации у Фуко и собственно социологической у Бурдьё — в поиск оснований социального знания.

Литература

1. Бурдьё П. Социальное пространство и генезис «классов» /Пер. с фр. Н.А. Шматко// Бурдьё П. Социология политики /Пер. с фр. под ред. Н.А. Шматко. — М.: Socio-Logos. 1993. — С. 68.
2. Parsons T. Hobbes and the problem of Order// Parsons T. On Institutions and Social Evolution. — Chicago: The University of Chicago Press, 1982.

²⁷ Подробнее о технике объективации и самообъективации у Бурдьё см. [24].

3. Бикбов А.Т. Имманентная и трансцендентная позиции социологического теоретизирования// *Пространство и время в современной социологической теории*. — М.: Издательство «Институт социологии РАН», 2000.
4. Риккерт Г. *Науки о природе и науки о культуре*// Риккерт Г. *Науки о природе и науки о культуре* /Пер. с нем. под ред. А.Ф. Зотова. — М.: Республика, 1998.
5. Дюркгейм Э. *Метод социологии*// Дюркгейм Э. *Социология* /Пер. с фр. А.Б. Гофмана. — М.: Канон, 1995.
6. Вебер М. *О некоторых категориях понимающей социологии*/ Пер. с нем. М.И. Левиной// Вебер М. *Избранные произведения* /Пер. с нем. под ред. Ю.Н. Давыдова. — М.: Прогресс, 1990.
7. Вебер М. *Основные социологические понятия*/ Пер. с нем. М.И. Левиной// Вебер М. *Избранные произведения* /Пер. с нем. под ред. Ю.Н. Давыдова. — М.: Прогресс, 1990. — С. 612.
8. Вебер М. *Наука как призвание и профессия*/ Пер. с нем. А.Ф. Филиппов, П.П. Гайденок// Вебер М. *Избранные произведения* /Пер. с нем. под ред. Ю.Н. Давыдова. — М.: Прогресс, 1990. — С. 729.
9. Манхейм К. *Идеология и утопия* /Пер. с нем. М.И. Левиной// Манхейм К. *Диагноз нашего времени*. — М.: Юрист, 1994.
10. Хайдеггер М. *О сущности истины* /Пер. с нем. З.Н. Зайцевой// Хайдеггер М. *Разговор на проселочной дороге* /Пер. с нем. под ред. А.Л. Доброхотова. — М.: Высшая школа, 1991. — С. 9.
11. Durkheim E. *Cours de philosophie fait au Lycée de Sens*. — Leçon 48 (Рукопись № 2351 в Bibliothèque de la Sorbonne. Конспект курса лекций, прочитанных Э. Дюркгеймом в 1883-84. Запись сделана Анре Лаландом). Электронная версия: <http://granny.lang.uiuc.edu/durkheim/Texts/1884a/00.html> .
12. Бикбов А.Т., Гавриленко С.М. *Пространственная схема социальной теории как форма объективации властного интереса теоретика: Парсонс/Фуко*// *Пространство и время в современной социологической теории*. — М.: Издательство «Институт социологии РАН», 2000.
13. Качанов Ю.Л. *Начало социологии*. — М.: Институт экспериментальной социологии—Алетейя, 2000. — С. 28.
14. Фуко М. *Воля к знанию*// Фуко М. *Воля к истине* /Пер. с фр. С. Табачниковой под ред. А. Пузыря. — М.: Магистериум—Касталь, 1996.
15. Foucault M. *The Eye of Power*// Foucault M. *Power/Knowledge*. — Chippenham: Harvester Press Ltd., 1980.
16. Визгин В.П. *Онтологические предпосылки «генеалогической» истории Мишеля Фуко*// *Вопросы философии*. — № 1. — 1998. — С. 171.
17. Foucault M. *Two Lectures*// Foucault M. *Power/Knowledge*. — Chippenham: Harvester Press Ltd., 1980. — P. 105-106.
18. Фуко М. *Надзирать и наказывать* /Пер. с фр. В. Наумова под ред. И. Борисовой. — М.: Ad Marginem, 1999.
19. Фуко М. *Что такое Просвещение* /Пер. с фр. Е. Никулина// *Вопросы методологии*. — № 1-2. — 1995.
20. Foucault M. *L'archéologie du savoir*. — Paris: Gallimard, 1969.
21. Делез Ж. *Фуко* /Пер с фр. Е.В. Семиной под ред. И.П. Ильина. — М.: Издательство гуманитарной литературы, 1998. — С. 132.
22. Спиноза Б. *Этика* /Пер. с лат. Н.А. Иванцова// Спиноза Б. *Об усовершенствовании разума*. — М.: Эксмо-Пресс; Харьков: Фолио, 1998. — С. 589.
23. Бурдьё П. *«Fieldwork in philosophy»*// Бурдьё П. *Начала* /Пер. с фр. Н.А. Шматко. — М.: Socio-Logos, 1994. — С. 27-28.
24. Бурдьё П. *Объективировать объективирующего субъекта*// Бурдьё П. *Начала* /Пер. с фр. Н.А. Шматко. — М.: Socio-Logos, 1994.